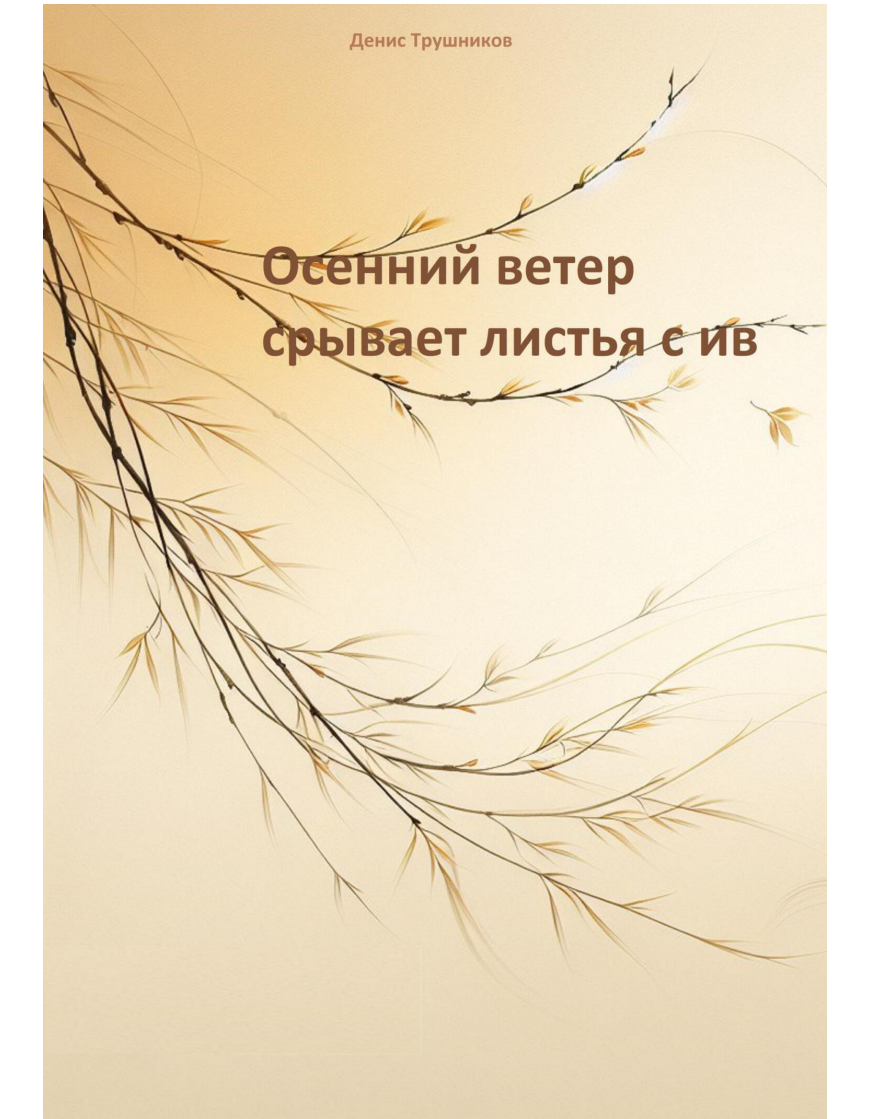


Денис Трушников

The background of the entire page is a warm, light orange or beige color. Overlaid on this background is a detailed illustration of a willow branch. The branch is dark brown and curves from the upper left towards the lower right. It is covered with numerous thin, elongated leaves that are a pale yellow or light brown color, suggesting autumn. Some leaves are still attached to the branch, while others appear to be falling or have been blown away by the wind, indicated by faint, wispy lines around the branch. The overall style is soft and artistic, typical of a book cover or a decorative poster.

Осенний ветер срывает листья с ив

Денис Трушников Осенний ветер срывает листья с ив

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72526411

SelfPub; 2025

Аннотация

Психологичное историческое полотно, повествующее о судьбе Ли Шу, высокопоставленного чиновника имперского Китая.

Измученный бременем власти, холодом закона и грузом личных трагедий, Ли Шу следует по дороге судьбы, где каждый шаг отмечен страхом, виной и мучительным выбором между долгом и человечностью. Став судьёй, он вершит чужие судьбы с каменным спокойствием, пока дело молодого оружейника Цзинь Вэя, обвинённого в саботаже, не вскрывает давнюю трещину в его душе.

Это роман-размышление о природе власти, милосердия и справедливости. О том, может ли человек в погоне за порядком сохранить в себе живое начало. Через изысканный, плотный язык, насыщенный метафорами и отсылками к китайской культуре, автор погружает читателя в атмосферу жестокого и прекрасного мира, где вышитые журавли на мантиях становятся символами не свободы, а золотой клетки, а цена одного милосердного жеста оказывается невероятно высока.

Содержание

Пролог	4
Глава первая. Тень журавля	23
Прибытие и повторение	23
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Денис Трушников

Осенний ветер срывает листья с ив

Пролог

Дорога была пуста, почти зыбка в утренней дымке, растянута вдоль северокайских полей, где земля тёмная, как зажёванная кровь, и вязовые коряги, цепкие к жизни, держат на себе остатки зимы. Слева, на горизонте, угадывались земли торфяных покосов, где в межах вдруг вздрагивали серые тени фазановых стай, исчезая среди ивняков. Воздух хранил в себе горькую вонь прошлогодней соломы и немного дыма, время от времени приносимого ветром – запах печи, в которой сжигают мусор и сушат сладкий батат, проникая даже в замкнутый люк паланкина.

По этому пути, вытертому, уставшему от веков, ползла целая вереница чиновничьего кортежа. Конные слуги, надменные и хмурые, подгоняли лошадей на ухабах; носильщики паланкинов менялись через каждые три ли, утирая вспотевшие лбы грязными рукавами, но никто не замедлял шаг ради сочувствия. Каждый знал – дорога здесь не милость, а испытание, и каждый стон колесной оси, каждое переливание вё-

дер так знакомо напоминали тюремный двор при казни, где даже птицы молчат оглушённо. Чиновники среднего ранга сидели в облупившихся носилках, держали на коленях шёлковые свитки и с утренней строгостью пытались не глядеть по сторонам; даже они, привыкшие к закону громче родной колыбельной, чувствовали: сегодня воздух пуще обычного натянут тетивой охотничьего лука.

Над поверхностью тревожной земли по-прежнему летал металл страха и ожидания – шахматная тень смерти, не дающая покоя ни бедняку, ни знатному гостю. Стаи ворон, подступавшие к придорожным ямам, вяло разлетались при звуках колёс – как будто знали, когда в очередной раз сюда притянут связанных верёвками людей. У крайней межи виднелась тлеющая печь, из которой едва видимый дым извивался, напоминая струйку фимиама жертвы: вокруг неё сидели деревенские мальчишки, сосавшие замёрзшие пальцы. Никто из них не кричал: дети на Севере молчат с ранних лет, здесь это дань не страху – беспрекословному уважению к безмолвию мира.

Обоз огибал невидимые ямы, вздрагивал на колдобинах, а наглухо закрытый паланкин, устланный цветными шелками, нес в себе самого Ли Шу. Его двенадцать носильщиков, сгрудившись, шагали с одной выверенной скоростью, ни разу не встретившись глазами – так в тюремных лагерях не смотрят на надзирателя. Сам паланкин, обтянутый снаружи провощенной парусиной, мягко раскачивался, словно в нём не че-

ловек, а нагромождение вещей и воспоминаний. Внутри царил полумрак; шёлк на стенках бликовал змеиными переливами холодного золота и скучного перламутра, а ситец под подушкой пах чистотой и отдыхом, которым редко пользовались. Сквозь щели проникал запах конского пота, старого лака и чего-то ещё – беспокойного, вяжущего, словно сама земля, по которой двигался этот необычный караван, не хотела отпускать ни виновных, ни судей своих.

Ли Шу был подобен сломанному стеблю, согнутому временем: в его движениях была выстраданная выправка чиновника старой выучки, но в углах рта – затаённая резкость, жёсткость, будто вся жизнь его начерчена одним росчерком судебного пера. Чиновник был очень высок, плечи упрямо выдвинуты вперёд так, словно они сдерживают невидимый натиск ветра. Глаза – усталые, мутные: от долгих лет в пыльных канцеляриях и тусклом свете ламп он почти не различал лиц. Для других он оставался символом – золочёный журавль на шёлке, парадная головная шапка с заколкой, нефритовый перстень – но сам знал, что одежда только прикрывает и холод, и опустошённость.

Рядом шли вооружённые слуги, пахло сырой кожей, конским потом, кислой редькой, которую грызли ещё ночью, старыми благовониями и чем-то дымно-сырым. За спиной грузно шипел посол Неба – драгоценный перстень на руке чиновника ловил грязный свет, а паланкин смертельно давил привычным уютом – тем самым, что сковывает движе-

ния даже во сне. В других дворах, в той жизни, что Ли Шу с ненавистью отринул, горячий рис достаётся детям по праздникам, женщинам дозволено дремать в полуденное пекло; в мире чиновника даже воздух – по расписанию, даже чай – только в назначенный миг.

Когда Ли Шу невидяще шурился в прорезь паланкина, ему казалось, что время, как ресничка на щеке, вот-вот упадёт. Ветки вязов гнулись под ледяным ветром, а вдалеке, среди дымящихся дворов, маячили полусгнившие стены, куда вставлены были где рыбы пузыри, а где – пластинки полупрозрачного сланца. Собаки разбегались, дети смотрели украдкой. Порядок – это величайшая лесть, повторял он себе... но сколько раз за этими белыми стенами умирали от голода или тоски те, кто, как его мать, был в доме только тенью?

Вдруг занавеска паланкина приоткрылась, и в щель просунулось бледное лицо евнуха Мао-эра. Его голос, тонкий и прерывистый, словно шёпот сухого листа, нарушил тишину:

– Ваше превосходительство, мы приближаемся к переправе. Говорят, река вздулась от дождей.

Ли Шу медленно повернул голову, его глаза встретились с потухшим взглядом евнуха.

– Что ещё? – спросил он, чувствуя, как в голосе прокрадывается усталость.

– Местные шепчутся о пиратах. Боятся, что те перекрыли дорогу к переправе.

– Пираты? – Ли Шу усмехнулся. – Разве они не знают, что этот кортеж под защитой императорского указа?

Мао-эр опустил глаза:

– Указ – указом, ваше превосходительство, но вода не разбирает чинов. А пираты... они ведь тоже люди отчаянные.

Ли Шу закрыл глаза, ощущая, как холодный ветер пробирается сквозь щели.

– Пусть слуги готовятся. Если понадобится, мы сменим маршрут.

– Но, ваше превосходительство, это добавит два дня пути...

– Лучше два дня, чем вечность, – отрезал Ли Шу.

Мао-эр поклонился и исчез за занавеской, оставив после себя лишь лёгкий запах ладана и старых страхов.

Детство возвращалось сквозь закрытые веки и тяжёлую тишину паланкина, и чем дольше шёл этот нескончаемый путь, тем отчётливей проступали пронзительные, крепко впившиеся в память мелочи жизни – нищий уют боковой комнаты, сквозняк, бегущий вдоль пола, и запах рисовой лузги, которым неизменно были пропитаны рукава его матери-наложницы. Её тонкие руки казались почти прозрачными в полутьме зимних рассветов: она перебирала приглушённо шелестящие бусины чёток, всматривалась в лицо сына, как в единственный смысл своих дней, и порой, наклонившись, тихо что-то напевала из песен забытой родной провинции.

В её присутствии всегда была осторожная мягкость; дви-

жения стали тише, когда в доме появлялись другие жёны, и острее – когда в гостиной резче хлопала створка ширмы. В память вонзились долгие утренние часы: мать осторожно снимала очищенное варёное яйцо с печки, обтирала его мешочком мокрой соли и разламывала пополам, вручая сыну чуть большую часть – «Ты должен быть крепче, чем твой отец», – шептала она, улыбаясь глазами, где едва угадывалась тревога. В холодные сезоны, когда с улицы доносился скрип волокуш и вой сторожевых собак, мать приносила с рынка тонкие веточки абрикоса и расставляла их в фарфоровой вазе: «Пусть цветы первыми узнают тепло, мы потом через них», – говорила тихо на старом наречии, которое почти никто в доме не понимал.

Хлеб был скуден, но всегда разделён поровну: ни одну горсть риса, ни кусочек хрустящей корки мать не брала себе первой. Иногда, когда она думала, что мальчик спит, выносила остатки еды старой служанке, и тогда возвращалась ко сну немного спокойнее. Часто на красном столике бывали только фарфоровая пиала с вялым рисом, тонкая полоска квашеной прошлогодней редьки, чуть сладковатая; иногда – обрывок пирожка с фасолевой пастой, разрезанный на два неровных треугольника, и та самая сушёная груша, сохранившая запах лета, когда отец был к нему особенно добр.

Эти угощения казались Ли Шу свадебным даром и призом за сдержанность. Он ощущал: счастье – вещь несмелая, скользящая, и именно поэтому к пиале с рисом он подходил

каждый день настороженно, с напряжением, подрагивая руками, как солдат перед выходом на дозор. Его мать не раз шептала ему на ухо вечером: «Будь осторожен в радости, сын, даже малое счастье способно вызвать зависть».

Вспоминались и редкие минуты их единения: в лунном свете они вместе разбирали письма на старых ламповых свитках; мать любила рассказывать сказки о девушках, способных превратиться в деревья, или о журавлях, которые покидают холодные воды вместе с первыми нелёгкими мечтами юности. Иногда она целовала его в лоб и, ощутив на коже печать её поцелуя, Ли Шу внезапно понимал – мама плакала до рассвета.

В памяти всплывали и диалоги.

– Почему ты никогда не смеёшься со всеми, мать?

– Пусть другие слышат мой тихий смех в аромате вашей каши, сын.

– Отец ругал тебя за то, что ты пошла за водой без спроса?

– Он боится не за меня, а за то, что любовь может быть сильнее порядка.

Маленькие картинки, почти наваждения: мать, очищающая фасоль, склонившись над деревянной чашей, отсчитывает бобы – один тебе, один дому, один ушедшим предкам. Она говорит: «Кто помнит прошлое, тот защитит будущее, и дом всегда найдёт сына». Вечером дым от благовоний смешивался с запахом подогретого соевого молока, окна дрожали от ветра, а мать всё ждала, чтобы Ли Шу сделал успе-

хи в чтении: его успех был для неё не просто надеждой, а единственной возможностью не погибнуть в тени дворцовых стен.

Будни той жизни были скроены из тысячи таких тёплых, но тревожных штрихов. Потому Ли Шу, став взрослым, не умел улыбаться без опаски – каждый успех он переживал с болезненной тревогой добычи: ведь знал – его радость может стать для кого-то упрёком, или даже проклятием.

Когда она умерла, дом, казавшийся прежде хоть и скудным, но живым, вдруг сжался, померк, словно кто-то серой тряпкой стёр из окон последний отблеск солнца. Холодный сумрак, в котором тени оставались надолго, проник в каждый угол, под занавески, между складок одеял, под столешницы. Каждое утро начиналось с безмолвия: чужие жёны, словно надушенные башни, прохаживались по двору медленно и важно, не замечая ни пацана у стены, ни отзвуков старых песен матери. Они наводили новые порядки – сыпали в суп больше соли, ставили украшения не туда, где привывали глаза, меняли даже масть старого пса – и всё это делалось с таким холодным достоинством, что дом постепенно переставал быть домом. Всё вокруг, включая сам воздух, как будто стало тоньше, прозрачнее, отступая перед чуждостью новых правил.

Скрипы матовых дверей, что когда-то были сигналом материнской заботы, теперь казались вестниками чужой власти. Отец – человек с резким голосом и губами, которые ред-

ко кривились в улыбке, стал ещё суше и отдалённее. Заво-та его теперь выражалась не в прикосновениях и тихих сло-вах, а в приказах, вырванных из уст: «Учись. Не пади ли-цом в грязь, иначе весь наш род посрамится». Даже, казалось бы, безобидные слова «сын» или «Шуэр» были наполнены не теплом, а тяжестью, отягощённой сдержанной досадой – как будто ребёнок был обязан извиняться за сам факт своего существования в этом клане.

Мальчика без долгих раздумий отправили учиться – не столько ради него самого, сколько ради традиций, ради чело-веческой молвы, ради стены, на которую должны были опе-реться все последующие поколения. Учёба была холодной и сухой, как рисовая бумага, что трещит под кистью при неосторожном движении. Каждый урок, каждая новая иеро-глифическая головоломка были разрезаны словно лезвием: за тонким лаком доски, на которой Ли Шу старательно выво-дил знаки, всегда проступала невидимая вина прошлых по-колений, ошибки предков, их тревоги за то, с чем мальчик столкнётся, повзрослев.

Однажды, когда Ли Шу, тогда ещё мальчик, вернулся до-мой с экзаменов, отец вызвал его в кабинет. Комната была заставлена тёмным деревом, а воздух пропитан запахом ту-ши и старых книг. Отец сидел за столом, его пальцы медлен-но перебирали резные чётки.

– Твой почерк всё ещё похож на следы курицы. Разве так пишут будущие чиновники?

– Я стараюсь, отец.

– Стараешься? Империя не нуждается в стараниях. Она требует совершенства. Ты – последний сын в этом роду. Если ты опозоришь нас, твоя мать умрёт вторично.

Такая встреча оплеухой заставляла забыть об отдыхе, и, собрав всю волю в кулак, Ли Шу выводил колонку за колонкой иероглифы, заданные учителями.

Праздники, которые устраивали для клана, были лишены и вкуса, и смысла. Пироги, что в детстве казались праздником, теперь украшались только ради статуса – их выпекали точно, по числу присутствующих, каждая дымящаяся миска с острым мясом становилась не способом объединить родных, а лишь ещё одной отметкой на длинном свитке достоинств семьи, не живым обменом любви или надежд, а протоколом рода, протоколом каждого неудавшегося весёлого взгляда.

Ли Шу тяжело переживал те годы – и терял друзей, как теряют молочные зубы в снах. Однажды его товарищ по играм, мальчик по имени Чжоу, ушёл с ним на рисовые чеки – там вода была глубокой после дождей, и зелёные стебли колыхались, как драконы в затаившемся поле.

– Смотри, Шу! Черепаха! – Чжоу прыгал по кочкам, его босые ноги шлёпали по мокрой земле. Маленькая черепаха беспомощно шевелила лапками у него в ладони. – Она же смешная! Как твой отец, когда читает указы!

– Отпусти её... – Ли Шу потянулся к другу, но нога вдруг

провалилась в илистую воду. – Чжоу, здесь глубоко! Вернись!

– Не бойся! Я же... – Последнее, что услышал Ли Шу, был хлопок воды и странный булькающий звук, будто кто-то втянул воздух через нос. Утонул он быстро, почти без крика, только круги расходились по воде, пока не пришли взрослые и не достали его тело, белое, как лунная каша. После этого Ли Шу долго не мог смотреть на рисовые поля без дрожи – вода стала ему страшной вражды.

Вечером отец снова позвал его в кабинет.

– Ты видел, как он утонул? – Отец стоял у окна, не оборачиваясь. Его тень падала на иероглифы траурного свитка.

– Я... я пытался... – Ли Шу сжал кулаки, чувствуя, как под ногтями застревает ил с того берега.

– Мёртвых не вернуть. Но живые должны помнить: вода топит только тех, кто смеётся не вовремя. – Отец повернулся, и в его глазах Ли Шу увидел то, что страшнее гнева – разочарование. – Завтра ты начнёшь изучать «Законы Великой Тан». Чтобы понимать, как наказывают за глупость.

Учиться, чтобы понять, за что и как наказывать – страшное и необходимое умение будущего чиновника.

Была и девочка из соседней деревни – Сяо Ин, маленькая, с косами, что светились на солнце, как ржано-восковые язычки. Её разыскивали только вечером – собаки утащили её за околицу, и от той радости, что она несла в дом своим смехом, остались лишь перья тряпичной куклы на дорожке. В

тот день дом погрузился в особую тишину; никто не смеялся, даже служанки сдерживали слёзы так, будто и сам воздух теперь не позволял плакать.

И всё-таки были и светлые моменты: иногда вечером, когда отец уезжал по делам, а новые жёны умывали лицо жемчужной водой у себя во дворе, Ли Шу вспоминал смешной анекдот, услышанный от старого садовника: «Почему император не ест горькую дыню на ночь? Потому что во сне он видит всех недовольных подданных, а проснётся – рот пересох, и воды не напьёшься: всё вокруг солёное от ранних слёз!» Садовник прикрывал рот платком и будто приглашал мальчика смеяться вместе, хоть ненадолго стряхнуть с плеч заботы клана, забывшись в простом, нелепом человеческом смехе.

Но за радостью всегда стыл холодный рассвет. Годы труда, экзаменов, утренних заучиваний перед тусклым светом фонаря. Пальцы мерзли, спина болела, а строки поучений Конфуция грызлись наизусть до тех пор, пока не превращались в заклятие, в скафандр вокруг сердца, не дающий дышать счастьем. Одежда теперь была иной: от грубого, скрипящего на теле льна – к тяжёлому, хрустящему шёлку; халат словно держал на плечах не только юношеские сомнения, но и тени всех предков. На рукавах журавли, тщательно вышитые нитями, глядели строго и молча – казались живыми стражами той несвободы, в которую врос Ли Шу. Пока трудился и рос, он всё чаще понимал: ни о какой свободе речь больше

не идёт. Только долг, только имя клана, только суровый, высеченный в иероглифах взгляд внутрь себя.

В голове вращались не только цитаты великих учителей – они иногда перемежались голоса чужаков: голос Ли Чжи, философа и смутьяна, с которым судьба столкнула его на экзаменах. В памяти вспыхивал тот его смешок – чуть обидный, чуть призывающий к правде, и странный едкий запах старого пергамента, которым был пропитан воздух на экзаменационном дворе; так же крепко отпечаталась и его фраза: «Где закон – там гибель, где власть – там унижение». Эти слова, горькие, как полынь, были будто занозой под кожей: Ли Шу прятал их под жёсткой чиновничьей шапкой, под всеми знаками отличия, но стоило взяться за судебный приговор, – они вспыхивали в душе, гремели в висках, заставляли стиснуть зубы и смотреть на свою судьбу совсем не по-книжному.

Когда пришло время исполнить сыновний и чиновничий долг, и отец велел заключить брак, Ли Шу впервые посмотрел на жену глазами чужого – она была сдержанной, чуть склонённой, но в её взгляде жила укоризна, полная строгой внутренней дисциплины. Её лицо, безупречно белое, как чжунцойская луна, в которую принято всматриваться на Праздник середины осени, хранило печать тех, кто привык подчиняться, но не уступать. Их брак был заключён без суеты, без свечей надежды; первая брачная ночь прошла под шорохи бамбуковой шторы и скупой огонь лампы с сургуч-

ной печатью рода.

Детей она принесла ему быстро, словно исполняя наконец предначертанную семейную миссию. Старшая дочь, Вэнь-эр, появилась на свет на исходе лета, примерно в шестой луне по сельскому календарю – когда персиковое дерево уже сбрасывает первый лист, и ночи полны сладкого дыма. С ее рождением Ли Шу впервые позволил себе прикосновение к забытому счастью: в Вэнь-эр была та ускользающая нежность, которой когда-то согревала его мать. По вечерам, усыпляя дочь, он задерживал ладонь на маленьком лбу – крошечная венышка билась в такт его голосу, глядя шелковый пушок волос. Иногда он рассказывал ей притчи из «Сюнь-цзы», но чаще – старую сказку матери о журавле и склонившейся иве.

Младшая, Ли Мэй – рождённая в середине весны, на четвёртой луне, когда цветы абрикоса еще не осыпались с влажных ветвей, а аромат лучезарного лета пронизывал все залы дома. Ее глаза напоминали отцу трепет старых времен: порой казалось, что в детском молчании Ли Мэй притаились словечки, сходные с выдохом матери – осторожные и радостно печальные одновременно. Ли Шу не всегда умел выражать к ней привязанность: она часто бродила одна в садах, собирая глиняные черепки и примечая перелёты птиц.

Но спустя всего несколько лет, когда Ли Мэй едва успела научиться ходить по каменному крыльцу – тогда ей было только пять полных весенних циклов, полная весна к Празднику очищения могил Цинмин, вдруг резким ударом в дом

ворвался набег пиратов-вокоу. Всё произошло за одну короткую весеннюю ночь – весенний сон, оборванный криком и дымом, так и остался в доме пустым эхом. Младшая дочь исчезла – растворилась, как лёгкая роса, и после этой ночи в залах осталось только унылое, густое, «неприкасаемое молчание»: никто не говорил о случившемся, никто не протягивал друг другу руки. Жена Ли Шу стала ещё строже, взгляд – ещё непроницаемей, старшая дочь – тише, а сам Ли Шу вдруг обнаружил, что, глядя в окно на бледное небо, ищет взглядом любые движения, как человек, который однажды потерял кусочек собственной души и не надеется найти.

Две наложницы Ли Шу – Линь Хуа и Чжан Ру, – были словно холодные, запертые ставни в глухом углу его большого семейного дома. Линь Хуа прибыла с юга, из торгового города Цзянькан на берегу Янцзы: её кожа была тонкой, глаза узкими и нежно-тёмными, но в этих глазах редко мелькала жизнь. Чжан Ру, напротив, родом из хмурого северного уезда Тайюань, с высокими скулами, все время слегка поджатыми губами и плотной косой – она была молчалива, медленно поворачивая голову, как будто прислушиваясь не к голосам, а к пустоте.

Каждая из них жила в своём отдельном крыле дома, на разных концах внутреннего двора. Комнаты Линь Хуа были отделаны светлой древесиной, с низкими ширмами, привезёнными из южных лавок; здесь в вазах часто стояли орхидеи и горный чай, аромат которых почти не ощущался сквозь

серый туман северного утра. Она держала при себе двух слуг из родной провинции: один растирал ладан, второй умел готовить сложный рисовый суп с рыбой – но сама Линь Хуа ела мало, а во взгляде с годами появилась испуганная отстранённость.

У Чжан Ру покои были строже – стены темные, окна закрыты плотной рисовой бумагой, повсюду стояли деревянные подносы с засоленными орехами и квашеной редькой. У неё лишь одна служанка, пожилая и беззубая, ежедневно натирала полы до блеска. Кухня Чжан Ру была холодна: она предпочитала блюда из пшена и варёных корней, редко просила сладкого, будто отвергая любые земные удовольствия.

Слуги и кухарки обсуждали между собой: наложницы живут в прохладе, словно боятся, что изобилие дома может их сжечь. Говорили, что обе бесплодны не по вине лекарей, а от холода и внутреннего напряжения: тела их, хоть красивы, отвергали жизнь – одну иссушил суровый север, другую – тоска по южным вёснам.

Порой Ли Шу, заходя в покои наложниц, не чувствовал настоящего присутствия: живые лица Линь Хуа и Чжан Ру вызывали не страсть, не нежность, только сожаление о чём-то безвозвратно утраченном. Он понимал: и их юность потеряла сияние в доме, где радость давно уступила место обряду. На закате дни текли одинаково: всё вокруг становилось красивой, но холодной церемонией. За длинными столами, утопающими в горках изысканной утки, маринован-

ных сливах, сладковатом супе из акульих плавников, Ли Шу стал есть как чужой. Каждая новая трапеза становилась подтверждением статуса, но не рождала ни благодарности, ни удовольствия.

Чай всегда был особый – жасминовый или пуэр, что приносил воспоминания о детстве и матери, о её простых, но тёплых чаепитиях в полумраке старого дома; а рис – настойчивое напоминание о нищете ранних лет. Как статуя, он участвовал во всех праздниках, скупое кивая на поздравления, и только иногда сердце отзывалось живой болью: когда под веками вставала картинка – как крошечные пальцы матери гладят его щёку – тогда, будто оживая на секунду, Ли Шу вновь становился мальчиком.

Прошли десятилетия, и, казалось, что каждый новый шаг по карьерной лестнице, каждый ранг, обретённый с трудом, не приносил Ли Шу того воодушевления, о котором мечтал в ранние годы. Юношеская мечта, что служба, чистая как снег на крыше пагоды, даст ему свободу и важность, давно улетучилась – место ей заняла глухая тяжесть, сковавшая его сердце и мысли. Когда-то рисунок журавля на новой парадной мантии сулил надежду на возвышение, чистоту помыслов, на то, что чиновник может парить над суетой, быть проводником высшей справедливости.

Но с каждым новым халатом, с каждым утолщением вышивки этот образ становился для Ли Шу не символом полёта – а знаком клетчатки, силка, в который журавль неиз-

бежно попадает. В его голове, при каждом церемониальном переодевании, всплывала мысль: «Мне не лететь, а стоять – под взглядами, под законами, под бременем чужих судеб». Вышивка, тонкая и золотистая, в детстве казалась ему трепетом крыла на ветру, а ныне – цепью, людьми невидимой, его собственной совести – нерушимой.

Служение империи, с ранним восторгом ожидаемое как триумф, всё чаще оборачивалось встречей со смертью, несправедливостью, бесконечным бессилием перед лицом слепых законов и личной вины. Ведь за каждым подписанным до блеска приказом, за каждым венцом чиновничьей славы стояли десятки сломанных судеб, парламентская рутина, чьи-то безвестные слёзы. Он больше не верил в журавля-вдохновителя – журавль на груди был лишь напоминанием, что любой высший полёт – это память о падении; что ни у какой власти нет настоящей свободы, власть всегда строит для себя клетки. Не бывает чиновника без крови на перьях и бессонницы в глазах.

И вот – дорога в никуда, дорога по стране, где все строится на страхе и скрытой вине. Ли Шу замыкается всё глубже – и с каждым новым распоряжением, каждым смертным приговором, он чувствует: не власть вершит его жизнь, а тень матери, её ожидание, и сумеречный голос Ли Чжи, философа, который когда-то в чужом доме однажды бросил вызов ему, сказав: «Стена строится из сердец, а не из кирпича». Эти слова грызли душу – теперь он нес их, как свой крест.

Сквозь открытую щель паланкина ему чудилась не просто дорога – а сухой хребет прошлого, где всякая радость осыпалась, рассыпалась пеплом, и даже солнце казалось нарисованным – тусклым, нетёплым и далёким. Он ехал всё вперёд – к новым решениям, новым смертям, в город, где закон и жестокость переплетутся вновь. Но внутри, в самой тайной и хрупкой клетке души, оставалось шёпотом: «Будь живым, не будь только именем на жёлтом свитке». И это был страх, к которому он не привык и которого боялся больше всяких мятежей.

Глава первая. Тень журавля

Прибытие и повторение

На рассвете кортеж достиг переправы через реку. Вода гудела, становясь то грязно-жёлтой, то почти чёрной в местах, где глубина скрывала каменные глыбы и утаённые сучья погибших деревьев. Помост на берегу, казавшийся надёжным лишь издали, прижимался к земле, словно от стыда. Острые крики ворон тревожили свежий воздух. Не было ни толпы, ни рыбаков, ни шумных поджидающих лодочников: с двух сторон выглядывали лишь голодные дети в затрапезных синих халатах, да пара стариков, робко отводящих глаза при виде подтянутых слуг.

Мао-эр, едва рассвело, вновь появился у занавески паланкина. На его лице остывшая ночная тревога перемешалась с деловой сухостью, — как на ледяной каменной плитке неизменно образуется роса.

— Ваше превосходительство, — начал он, осторожно выговаривая каждое слово, — лодочники на переправе распускают слухи. Говорят, ночью плыли несколько незнакомых судов. Гребцы не рискнули отходить далеко к западу, бояться за своих детей.

Ли Шу не ответил сразу. Он ещё чувствовал на плечах

усталость от дрожащей дороги, от внутреннего давления, что всё тянет вниз. Он подавил желание махнуть рукой, оттолкнуть мятежные мысли.

– Соберите слуг, пересчитайте груз, – коротко бросил он, – пусть охрана вооружится копьями.

Помост на берегу скрипел, когда кортеж начал движение. Ветер приносил с полей запах прелой соломы и мусора, пробирал до костей – на мгновение Ли Шу подумал, что небо висит так низко над головой, будто вот-вот раздавит всю здешнюю беспомощную землю своей сонной синевой. Самым отдалённым умом он отмечал неудержимое разложение, которое медленно, но неумолимо, вползает в любую человеческую власть и в самую ткань жизни.

Спуск к воде был крутым, луговина набухла после ночных дождей. Сапоги проваливались, оставляя неглубокие следы между чёрной травой и коричневым илом. Здесь, у самой реки, мелькнула в памяти совершенно иная переправа – весёлый голос матери в тени платана: «Сынок, вода всегда разная, а страх у всех один». Было невыносимо думать, что если теперь ты пойдёшь вперёд, то воды разом сомкнут твои мысли, унесут их в беспмятство, как унесли в детстве Чжоу и его последнюю надежду на счастье без условий.

Носильщики, полные опасливого достоинства, передавали друг другу паланкин, охранники настороженно осматривали берега. Как только Ли Шу вышел, под ногами зашуршала мокрая галька, ароматы тмина и рыбных остатков уда-

рили в нос сильно, почти обидно, – запах растрат, бедствий и пресловутых «народных нужд». Здесь чиновник онемел бы, но не человек; здесь власть – тоныше тростника, обострённое нищеты.

К лодочнику, старому сгорбленному мужику, подошёл лично Мао-эр, предъявил ему печать, кинул блестящую монету. Лодочник поклонился, а взгляд его был не то жалостливым, не то сдавленным, – в одну секунду чиновник будто бы увидел и всю нищету низов, и бессмысленность богатства.

Когда лодка качнулась, первым ступил Ли Шу, зашёл осторожно, будто смиряясь ещё раз – теперь уже с рекой. На противоположном берегу его ждали новые вопросы, новые опасения. С каждым гребком забывалось прошлое; только в груди всё же пульсировала воспоминанием рука матери – та, что всегда вытирала заплаканные щеки, та, о которой нельзя было рассказать никому из нынешних спутников.

Противоположный берег встречал пустотой – ни вздоха, ни песни. Солнце вылезло из-за облаков резким золотым кругом, делающим грязную воду почти сверкающей; на лицо упала короткая тень, и снова Ли Шу почувствовал, как тяжело быть не собой, а только своим рангом, своим печатным именем в казённом реестре.

Он оглянулся назад. На миг ему показалось, что за спиной осталась не одна переправа, а вся прошлая жизнь: плечи носильщиков – уставшие, лица безрадостные, кто-то ищет

взглядом редкую птицу, кто-то спасённого ребёнка среди них. Все ищут чего-то – а он? Он ищет оправдание, чтобы двигаться вперёд.

Когда кортеж снова выстроился гуськом, сам лозунг «служить Империи – значит служить Народу» прозвучал в памяти Ли Шу шершаво и искусственно; за ним – только пустота и пыльная дорога.

Лодки одна за другой подплывали к скрипучему трапу, имперский обоз медленно, с натужной осторожностью, переправлялся через мутные воды. На берегу, где тростник вился плотным ковром, двое вооружённых дозорных уже ожидали, всматриваясь в поднимающуюся с реки дымку. Здесь не было привычной толчеи – лишь где-то в стороне потрескивал костёр – десяток простых крестьян готовил рис, не отрывая глаз от чужаков.

Мао-эр помог Ли Шу сойти на сухое место, пригнувшись под клювом зонтика паланкина. Чиновник не удостоил его взгляда – мысли подобно зловещим облакам тяжело нависали над ним, а в голову лезли другие, почти забытые вопросы. Как разрешить их – одним ли новым законом, очередным карательным распоряжением, кровью «лихоимцев», или, быть может, впервые попытаться услышать внутренний голос?

Слуги спешно перегружали ящики, пересчитывали тюки с бумагой, мешки с крупой, ларцы с серебром и нефритом. Каждый шаг вызывал раздражение в сухожилиях Ли Шу; время будто раскалывалось на отрывки между толчка-

ми носильщиков и вялым плеском воды – он ощущал себя не столько верховным судьёй, сколько проводником забытой тревоги, несущим в себе и ответственность, и боль прошлых ошибок.

В глубине души его не оставляла странная опустошённость: только что одна опасность была пройдена – а следующая уже маячила впереди, и чем дальше он двигался, тем туже сжимался стальной обруч в груди. Всё, что казалось когда-то великим – чиновничий долг, порядок, слово начальства, – вдруг теряло свой вес, когда за спиной оставалась притихшая переправа, где голодные дети продолжали жевать холодные зёрна, а лодочник, перемахнув через трап, бросал долгий, непонятный взгляд вслед процессии.

– Дайте распоряжение разведчикам, – с глухой усталостью приказал Ли Шу. – Пусть село проверят перед заходом. Не желаю новых неприятностей.

Один из молодых помощников, мальчик по имени Чэнь, выскочил из рядов, неловко держа чиновничий свиток под мышкой:

– Господин, а нам в каком доме сегодня отдыхать? Староста из Яньцзяна сулит тёплую избу с рыбным супом...

Ли Шу даже не повернулся.

– Где меньше глаз, там и ночуем, – отрезал он. – Запомни: чиновнику пища не во вкусе, а в спокойствии.

Окольная дорога вела сквозь волнующиеся, влажные заросли, запах сырой травы тянулся давним эхом – когда-то

так пахли задворки его детства. Ли Шу, покачиваясь в паланкине, смотрел на калейдоскоп прожитых лет, увиденный сквозь парусину: и теперь, как много лет назад, ему отчаянно хотелось сжать в руках тёплую пиалу, услышать знакомый голос матери, забыть о себе и о том, что он «имя на свитке», а не человек.

День клонился к вечеру, и кортеж добрался до города. Каменные ворота зияли строгой пустотой, сторожа неприветливо смотрели на приезжих, но, опознав эмблему журавля, незамедлительно распахнули створки, ритуально упали ниц перед паланкином. Ли Шу равнодушно повёл глазами по чужим спинам: церемония подчинения не тронула его – за долгие годы уважение и страх в чужих поклонах давно окаменели в его душе, стали лишь частью неизменного рисунка.

У городских ворот стоял молоденький стражник, переминаясь с ноги на ногу. Он, должно быть, ещё не привык видеть такой великолепный кортеж: взгляд его метался от вычурной заколки к тускло блестящему камню, и только когда Мао-эр повёл цепочку слуг, мальчишка сжал копьё и попытался выкрикнуть что-то про порядок.

В городе, пропитанном запахом уличных харчевен, тёмными дворами и утлой влагой, Ли Шу ничуть не ощутил себя в безопасности. Чем богаче становился городской центр, тем больше в нём виделось луж, дымящихся трещин, даже роскошные дома были похожи на тюремные камеры – всё здесь было только формой.

Он знал: вечером ему принесут списки дел, донесения на подозрительных крестьян, уведомления о казённых долгах и свитки прошений. Принесут угощения – «славный рыбный суп», жареную утку, фаршированные пироги, чашу горячего вина. Но ни одна из этих щедрот не имела значения: пища здесь – притворство, как улыбка на лице слуги; настой чая – только повод вспомнить вкус дома, который с каждым годом отдалялся, растворялся во вчерашней дымке и тени страха.

Вечер опустился быстро, оставляя над городом тяжёлое, мутное небо. В это время Ли Шу, один в просторной комнате с потухшей лампой, впервые за много месяцев позволил себе не думать о документах. Старое воспоминание опять шагнуло в сердце: он вспомнил едва уловимый аромат материнских пальцев, прикосновение – призрачное, как лёд, что не тает в ладонях. Он не плакал. Не мог уже плакать – как не может плакать камень на пустынной переправе.

Ночью он вглядывался в беспокойное дрожание фонаря и знал: завтра – первая инспекция, первые суды, первые бесстрастно вынесенные решения. Всё повторится – как всегда, и, быть может, именно в этом круге повторения и есть самое страшное одиночество.

Ли Шу долго не ложился спать той ночью. В комнате, где стены украшали фанерные доски с выцветшими журавлями и символами справедливости, он сел за резной стол с документами. Сквозь окна пробирался солоноватый воздух с рынка, где даже ночью гружёные носилки рыбаков протяги-

вались цепочкой мимо пересохших фонтанов. Слуга, наполовину дремавший за перегородкой, вскакивал по каждому шороху, ожидая окрика, но слышал лишь приглушённый шелест бумаг.

Пальцы Ли Шу, привычно твёрдые, теперь подрагивали. Он разглядывал вложенные друг в друга дощечки с именами – свитки, где перечислялись преступления и жалобы простых жителей. Под именами мелькали просьбы: «прости долг», «верни пропавшего сына», «смилуйся над вдовой». За каждым иероглифом он будто видел не строчку, а усталое, сухое лицо, морщины, слёзы, кровь на руках и бурлящий в груди страх – тот же, что мучил и его самого.

Он вспоминал, как однажды в детстве мать принесла ему трещиноватую дощечку – «первое решение», как она смеялась тогда. На той дощечке мальчик выцарапал свой первый иероглиф судьбы: «милость». Теперь же это слово болело, как старый шрам. Он поймал себя на том, что всё труднее отличить в себе страх перед собственной жестокостью от страха быть несправедливым по закону. Весь круг жизни, все прежние иллюзии – разбивались сейчас об этот убогий, хрупкий стол, наполненный чужими судьбами.

На краю лежала табличка с именем Цзин Вэй.

«Молодой оружейник. Саботаж. Порча орудий».

Ли Шу не стал читать подробности. Он уже знал, что там будет: недовольство, жалобы, возможно, даже намёк на мятежные мысли. Но разве это важно? Закон ясен.

Перо в его руке двинулось сама собой – быстрым, резким росчерком.

«Разрывание быками».

Тушь легла чётко, без дрожи. Но в последний момент, когда он уже отводил кисть, с кончика пера сорвалась капелька. Она упала рядом с иероглифами неуместной точкой, чёрным пятнышком на жёлтом дереве.

Ли Шу замер.

Клякса.

Недопустимо. Непорядок.

Он резко прижал кисть к дощечке, размазал каплю, превратив её в новый иероглиф.

«Кол».

Теперь приговор звучал иначе: «Разрывание быками на заострённом коле».

Смерть неспешная. Смерть мучительная.

Но дощечка была безупречна. Порядок восстановлен.

Ли Шу откинулся на спинку кресла, чувствуя, как в горле поднимается что-то горькое. Где-то далеко, за стенами канцелярии, должны бежать слуги – искать быков, готовить кол. Где-то Цзин Вэй, не зная ещё о своей участи, наверное, мучается у стены тюрьмы, рассчитывая на быструю казнь, хотя бы повешение, и так, чтобы остались в живых члены его семьи. Кто там у него? Жена? Дети? Сколько лет Цзин Вэю? Разве это важно... Он – два иероглифа. А завтра – можно

сжечь табличку, и нет никому дела до Вэя.

Не это имело значение.

Важнее было то, что на документе не осталось клякс.

Внезапно с улицы донёсся отдалённый крик – где-то за городским углом стража повздорила с обозным погонщиком, – и последние звуки вечернего города вонзались в его уши, как упрёк.

Мао-эр бесшумно появился на пороге, в руке – чаша с горячим настоем. Он молча поклонился, поставил чашу, хотел было уйти, но Ли Шу задержал его взглядом.

– Мао-эр, ты ведь умел смеяться когда-то?

– Я... – евнух замялся, – Ваше превосходительство, по долгу службы я смеюсь лишь тогда, когда невидим.

– Значит, смех – тоже преступление?

Мао-эр лишь опустил глаза:

– Иногда он опаснее многих слов.

Ли Шу долго сидел в полумраке своего кабинета, когда закрылись за Мао-эром двери, а на город лёг вязкий, непроглядный вечер. Пламя лампы мерцало, освещая лишь его руки, перевёрнутые бумаги, тонкую полоску нефритовой печати да старый лакированный футляр, который он годами хранил среди самых личных вещей. Этот футляр пах слабой смесью сухой земли и увядшей травы – хранитель памяти, детского магического времени, вытесненного теперь суровой прозой чиновничества. Ли Шу решился на поступок, которому давно не давал воли: потянулся к своему футляру с

тысячелистником, приготовился гадать – так, как учила ещё мать. Медленно перебирая стебли, он выдохнул сквозь зубы вопрос – неведомой судьбе, будущему, матери: поступать ли по всей строгости, или вспомнить о том маленьком слове на детской дощечке? Как когда-то учила его мать, Ли Шу перебирал стебли почти молитвенно: слегка опустив голову, как бы склоняясь перед чьей-то высшей волей, он формулировал вопрос – не к небу, не к императору, а к непостижимой нити жизни, то исчезающей, то вспыхивающей в самом сердце.

Щелчок – и на столе рассыпался веер жёстких, коричневатых стеблей тысячелистника. Их сушил ещё его прапрадед: в роду Ли верили, что так лучше всего слушать мало различимый намёк судьбы.

Комбинация, выпавшая под его руками, напоминала череду разбитых судеб и молчаливую силу смирения.

– Поступить по всей строгости, или попытаться пробудить то самое слово – «милость», что выцарапал он однажды на узелковой дощечке? – выдохнул он, и голос в пустой комнате показался слишком старым и слабым.

Началось гадание: осторожное, уравновешенное перебирание стеблей, разделение на кучки, – всё согласно древнему счёту, до боли знакомое движение пальцев. Он ловил каждый шорох сухой травинки, замирание сердца в тот миг, когда результат уже нельзя повернуть вспять.

Ли Шу сверился со свитком гексаграмм. Узор предсказания был странен, тревожен. В начале девятка. Поражение

света: у него в полете опускаются крылья. Благородный человек в пути по три; дня не ест, но ему есть, куда выступить, и его господин будет говорить о нем.

Шестерка вторая. Поражение света: он поражен в левое бедро. Нужна поддержка, мощная, как конь.

– Счастье!

Девятка третья. Свет поражен на южной охоте. Но будет получена большая голова. Нельзя болеть о стойкости.

Шестерка четвертая.

Вонзится в левую часть живота.

Сохранишь чувство поражения света, когда выйдешь из ворот и двора.

Шестерка пятая.

Поражение света цзи-цзы.

– Благоприятна стойкость.

Наверху шестерка.

Не просветишься, а померкнешь. Сначала поднимешься на небо, а потом погрузишься в землю.

В древних толкованиях этот знак сулил не только трудности, невидимую опасность, но и подспудную угрозу: каждый шаг вперёд совершался по острым камням, а за храбростью караулила не победа, а потеря, отягощённая виной. Часто говорили: «Упрямый путник на таком мосту теряет самое дорогое – чтобы остаться хотя бы собой».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.